

Илья познакомился с Ерохой, Андреем Ерохиным, неделю назад, когда тот у них морковку дергал. Илья был ростом меньше десятилетнего Ерохи и годом моложе, но Андрей так за дни странствий изголодался, что и не понял, как Илюха так ловко подмял его под себя.

Подружились они быстро. Слезливая история о том, как сирота решил сам найти родных, растрогала деревенского паренька. Еще в детдоме Андрей узнал, что мать его умерла при родах, а отец вроде как лесничил неподалеку. Ну и чего тогда было в детдоме делать? Решил Ероха за счастьем слётать, да промашку судьба изготовила — умер весной его будто бы отец. Жена его зная мальчишку не захотела, из дому выгнала. Да он и в доме-то не был, на крыше ночевал, комары всего поизъели. Если бы не Илья, в тюрьме бы уже сидел за воровство: не с голоду же помирать! Теперь ребята думали, как беглому Ерохе зиму перезимовать.

— Бабка-то не совсем чтоб старая, но совсем уж страшная, — горился Андрей товарищу, — и с бородавкой не на носу, а на щеке,

возле подбородка, противно так свисает! Если смотреть сбоку, то на таракана похожа.

— Бабка?

— Да бородавка, говорю! — и смеются оба. — Представь, лицо коричневое, шея даже черная, а тут еще и таракан! Так бы и шлепнул таракана! — и опять в смех.

Вдруг Ероха сморщился и так саданул себя по шее около уха, что чуть с пенька не слетел.

— Ты чего там? — спросил Илья.

— Комар, зараза.

— Их тут много! Всех не перебеешь. Это тебе не в городе.

— Да я уж почти привык.

— А что бабка-то, все гонит?

— Гонит! Как нашла утром на крыше, так к дому и не подпускает. Напущу, говорит, на тебя полицию, если сам не уйдешь.

— А ты?

— А куда я пойду? Сыскал родню, называется. Мож, к тебе?

— Не-е, у меня отец загулял, а мать с этого шальная становится. Сам одной бабулей живу. Она у меня ни перед кем не стушуется, любого за пояс заткнет!

— В детдом опять неохота...

— Ну и плюнь... Ишь, какая! — пригрозил кулаком Илья в небо. — Живет там, как кукла!

И они снова захохотали вместе, представляя, какая страшная кукла из бабки выходила, прям ужас.

А бабка эта была не только страшная, но и злая еще. Так считали все ребятишки соседнего с заимкой поселка, откуда Илья был родом. «Она деда Самоеда сундуком весной огрела, до сих пор хромает. Правда, моя бабуля говорит, что так ему, паршивцу, и надо, но все равно, что так руки-то распускать, да?» — выложил дознанное Илья. Все и согласились — злая, потому и дерется.

«Какая она вам бабка, чудилы? А живет она на заимке не совсем по закону — эт правда», — рассказал ребятам тот самый дед Самоед. Он дрова колоть к людям нанимался. В перекур и рассказал ребятам историю бабки Ивохи: «Иволга она так-то. Фамилия у ей такая. А звать как, и не помню, может, Натаха, а может, и Птаха», — смеялся дед кривым ртом. Ему за работу

самогоном платили, вот он и любил посмеяться. «А чо, раз Иволга, так, может, и Птаха!» — и опять так весело-весело захрюкал, глазками слезливо заморгал, головенкой задергал, того и гляди, уши отвалятся. «Не-е, она не местная наша, ее лесник, покойник, из городу привез. Он уж в годах был, и она тоже, но ничо еще, собой гордилась. А как хозяин ее захворал, уж она тут по селу побегала! А чо оно, када сердце? Кто ей поможет? Нихто. Вот и скочевряжился ейный хахаль», — и опять хихикнул противно так, будто слюной подавился. «А она ничо так собой была», — закончил Самоед перекур коротким вздохом и серьезно так всмотрелся в голубой горизонт.

— Какой там «ничо»? — удивился рассказу Ероха. — Как она тогда такой страшной оказалась?

— Да кто ему верит! Может, это на его вкус «ничо». Сам-то он лишний раз штаны не поддернет, до колен свисают, страшнее черта. А когда не пьет, вааще страшила!

Илья присел, втянул румяные свои щеки меж зубов, закатил глазенки к небу и пошел, прикосолапливая, трусить вокруг пенька, на котором сидел Андрей. Ероха, смеясь, подскочил к Илье, передразнивая бабуку Ивоху, заходил, вытянувшись, гоголем. Смеясь, они побежали через речной брод к лесополосе, потом через поле в лес, по едва заметной дороге, к заимке, куда заявился недавно Ероха к бабуке Ивохе.

Светлая сухая комната лесничего дома. Запах свежезаваренной травы и цветочной пыльцы заполнял ее. Облезлые половицы, все в мелких березовых стружках, застеленная серо-зеленым гобеленом железная кровать, деревянные некрашенные табуретки, стол с выбеленной по углам светло-лиловой клеенчатой скатертью, бежевые короткие занавески на окнах — все играло, искрилось в ослепительно-желтом освещении погожего летнего дня. На фоне темного силуэта массивной печи две женщины, понуро склонив головы, вели беседу.

— И как же теперича жить? На ягодах и грибах не протянешь долго.

Торопливо-тревожное всхлипывание прервал хриплый голос:

— Картошка кончилась. А до новой месяц еще.

— Огурцы? Их бы тоже с хлебом надоть... Ох-ох-хо. Вот и начни новую жисть, — колыхнулась грузным телом Давыдовна.

— Не про нашу честь новая жизнь, — Наталья потянула желваками.

Кожа на загорелых щеках задергалась, запрыгала отвисшая бородавка, закрипели то ли под ногами половицы, то ли стиснутые зубы.

— А тебе сколь до пенсии?

— Три года еще.

— Молодая... Я-то уж давно пользуюсь. Где они думают нового лесника взять? Чтоб непьющий да со сноровкой.

— Я им говорю, подождите месяц, документы на ружье сделаю и устроюсь к вам официально. Не берите никого. Я согласна без денег пока присмотреть за участком. Нет как нет! Нам с тебя ни спросу, ни ответу, если что. Выселяйся — и все! А куда я тогда?

— Не спереживай! Обойдется. Я помолюсь вот, в церкву схожу, и обойдется!

— Сходи, — Наталья махнула рукой. — Сына-то отомлить не можешь, чтоб не пил.

— Сын должен сам захотеть, насильно ничо не деется. А обожди вот, и сына Бог наставит, и нам с тобой поможет. Терпения бы только. А то мы как хотим? Щас нам вынь да положь. Так и гнали бы судьбу!

— Так жить негде, есть нечего! А тут еще пацан на голову свалился...

— Ну, дак и ладно, чо свалился, его Илюшка кормит.

— Опять же я боюсь, что спалит он меня с избой вместе. На крыше дымок, слышь-ты, шаить солому вздумал. А мне потом сидеть за порчу казенного имущества? Изба-то лесничества.

— А ты пусти его в дом, чтоб гнус не терзал мальчонку.

— Неча делать! — рубанула ладонью солнечный столб Наталья.

Пыль с пола струйкой заскользила наверх, к форточному сквозняку. Давыдовна вышла на середину комнаты:

— Ладно, не тушуйся. Ничо еще у тебя не отобрано. Помолиться, видно, шибко придется.

И, уже уходя, шамкнула через плечо грозно:

— Пыль вытри, да прибери тут маненько. А я Илюшку с картохой пришло к вечеру. Мож и еще чаво пособираю.

Ероха убёг от Ивохи в лес да в чистое поле подальше, бродил там с обеда до самого вечера, наплакался вволю от обиды, как она его на крыше кнотом отстегала. «Проклятущая бабка!» — хлюпал он разбухшим носом. «Чтоб ее черти ночью до смерти зачекотали», — шептал он теплой прозрачной воде в ладошках, когда умывался в голубой протоке. Вот светлое, тихое место, и живет совсем недалеко отсюда эта бабка — просто ведьма какая-то! Откуда что берется на свете?

Он поежился и огляделся по сторонам. Жутко все-таки одному, хоть кругом и водная гладь да камышовый простор с заливыми лугами, но вечер уже озакатил четвертушку неба, а с нехорошими мыслями и того страх одолевать начал. И как будто бы плач или даже вой почудился ему, но он подбадривал себя, рассуждая вслух: «Чо мне собак-то пужаться? Собаки — они скорей добрыми бывают на воле, я же не к ним в подворотню лезу, не тронут! Вот заберусь на холм, осмотрюсь, мож, стожок какой окажется неподалеку, да и переночую там. У костерка посижу до темноты, а потом юрк — и в стожок. В стожке никто не тронет! Буду как у Христа за пазухой. А ведь это Илюхина поговорка. Вот кто настоящий друг! Успел меня огурцами с картошкой накормить. Хлеб хоть и черствый, но еще душистый был и, кажись, даже сладкий. А-а — он остановил подъем и даже подпрыгнул, — там, в мешочке, еще и пряник был! Вот почему мне эта запазуха в голову засела, чтоб я про пряник не забыл!»

Нащупав упавший к самому пупку пряник в ситцевом мешочке, он повеселел и стал подниматься на пригорок. Наверху осмотрелся и, правда, около самой кромки леса увидел высоконький стожок. К лесу только страшно было возвращаться, но он решил к нему лицом не поворачиваться, а все задом-задом, и костерок ближе к полю да к протоке соорудить. В стожке выемку надергал поглубже, чтоб спину себе от комарья и испуга прикрыть, а потом уж с веселым костерком да с пряничком ему все нипочем будет. Небо светлое, звезды в конце июня крупные, яркие, ночуй — не хочу. И затрещали сучья весело в костерке! Немного погодя Ероха к протоке спустился воды попить,

по дороге от берега сушняка прихватил, сколько смог и — всё, дела закончились.

Что оставалось делать? Слушать тишину, сидеть, затаив дыхание, но уже через минутку он вскрикнул: чего-то комары повадись его кусать в шею за правым ухом. Там теперь хорошая царапина образовалась. Бабка Ивоха кнутом секанула, а эти и рады кровью полакомиться. А вон тот, гигант какой-то, малярийный, что ли, так и норовит за лысую башку зацепиться. «Зверюги проклятые!» — взвизгнул по-девчоночьи Ероха, отмахиваясь что есть силы обеими руками и подвигаясь ближе к костру. Бабка и комары выходили теперь его злейшими врагами.

Вдруг крик его как будто отозвался эхом за холмом у ивняка. «Запоздалое какое-то эхо... сонное... А может, это я уже сплю? Быстрее надо костер затушить и в стог, подальше от ночных криков и шорохов», — думал и впрямь будто бы придремавший Ероха. В стогу, конечно, жарко, зато ни гнуса, ни пустоты пугающей, ни жуткого лесного сумрака. Чтобы разогнать обнаглевших комаров, он взял пушистую полузасохшую ветку и начал хлестать ею по догорающему костру. Ветка вдруг так ярко вспыхнула, что напуганный этим пламенем Ероха вместо того, чтобы бросить ее и затоптать ногами, начал размахивать ею, как флагом, и только когда искры посыпались на голову и плечи фейерверком, он бросил обгоревшую палку и с воплем начал шлепать себя по загривку вспотевшими ладонками. И тут он опять услышал ответный крик, то ли женский, то ли ребячий, высокий надрывный и уже различил отдельные слова: «Кто там... Помогите! Эй, люди!..» А потом тише, тише: «Люди... сюда... по-о-могите...»

«Ма-а! — хотел было мявкнуть Ероха, но отчего-то схватил сам себя за грудки обветренными кулачками, залепетал слезливо: — Боженьки-боженьки, спасите-помогите». От этой горячей молитвы леденящий озноб враз перестал бить худенькое тельце, тонкими струйками заскользил по телу и как будто стал просачиваться через потрепанные кроссовки в скошенную игольчатую траву.

И вот — опять тихо. «Что, и на этот раз померещилось? А это последнее — «по-о-могите»! Совсем как плач, оно как будто бы было. Значит, надо пойти и посмотреть, кому нужна помощь... А если

не пойти, а залезть, к примеру, в стог? Там ничего не будет слышно, если, конечно, проход закрыть... А если взять ветку (она еще не потухла) и пойти посмотреть, ну, может, не совсем туда, а чуть поближе... Только обязательно перед этим, как Илюшкина бабушка, перекреститься и что-нибудь сказать такое, типа «Господи, помоги и спаси», а потом опять перекреститься на всякий случай».

Мальчик поднял ветку, распушил ее огнем на углях затухающего костра и, пришептывая в темноту все-таки давешнее «Боженьки-боженьки, спасите-помогите», зашагал с косогора в низину, в ивовые заросли, откуда, как ему вздумалось, и могли причудиться крики о помощи.

— Да кто здесь, кто? Люди?! — испуганный хриплый голос, уставший выкрикивать слезное, и звенящий тенорок в ответ, убеждающий, кажется, в первую очередь самого себя: «Люди! Конечно!», сошлись в общем выдохе. А как подкатил Андрей с пригорка на заднице к испуганной женщине, закончил совсем радостно:

— Это я — люди!

— Ох, а как ты здесь, с кем? — в надежде приподняла голову женщина.

— Один... Я в огонь суну что-нибудь сухое, а то потухнет ветка...

— Чей ты? Из поселка?

— Не, вы меня не знаете, я тут всем чужой. Я из города, Илюшки Прохорова дружок.

— Ох и ох! Нашелся...

— Вы не волнуйтесь, я с вами до света посижу, а то одному страшно. Кажется почему-то, что волки рядом. Только не смейтесь.

— Не до смеха...

— А чего вы тут? — наконец управился с костерком Андрей и осмотрел отвернувшуюся в темноту женщину. Рукой она загоразивала лицо от света.

Женщина полулежала, упираясь спиной в согнутое кривое дерево. Одна нога была примотана какими-то лоскутами к доске.

— Вы ушиблись?

— Здесь, в овражке, за ивняком, мусор строительный. Похоже, ногу сломала. Даже сознание теряла...

— Сбежать в село за помощью?

— Сейчас нельзя, — остановила она его рукой. И прислушалась. — Посиди со мной. Ты с ружьем умеешь управляться?

— Не-ет! — завистливо протянул Андрейка.

— Вот, смотри, здесь два патрона. Если стрелять, то нажимать сюда.

— Это курок, я знаю. У Илюшкиного отца такое ружье. Он говорил — старинное. Его нельзя было трогать...

— А вы, похоже, трогали.

Ероха почесал ладошкой запачканный золой нос:

— Можно подержать?

Махнув головой, она тяжело, всей грудью, вздохнула:

— Не могу поднять, ослабла. Не ела еще ничего...

— А у меня пряник есть! — даже задохнулся Ероха.

Он за ружье и десять бы пряников не пожалел.

— Не надо мне пряника, — отмахнулась свободной рукой женщина и закрыла ею вторую половину лица. То ли слезы, то ли капли пота потекли по подбородку.

«Какая добрая тетя! Вот так поворот у меня!» — удивлялся Ероха, рассматривая ружье.

— Если надо будет, сможешь выстрелить?

— Смогу! — вдохновенно заверил Ероха и... выстрелил.

Бабахнуло из двустволки так, что уши заложило. От неожиданности он отбросил ружье в траву и тут же кинулся его поднимать.

— Да что ж ты... — дернулась от корявого ствола женщина и потеряла сознание.

Виноватый Ероха начал было выкрикивать какое-то оправдание, но понял, что его никто не слышит. Тело женщины, обмякнув, странно скособоилось на левую сторону. Сжав обеими руками ружье, он на карачках подполз к ней, склонился над лицом. Правая щека у нее была замазана то ли грязью, то ли кровью. Ему показалось, что он видел ее где-то, может, в поселке, а может... И тут сверху, от холма, прогремел второй выстрел.

Николай Коренной, бывший военный, окончил авиационное училище и служил некогда в летной части авиатехником. Самым дом его прозвали уже здесь, в деревне, куда он приехал молодым

пенсионером. Мать его вскоре умерла, так и не дождавшись ни снохи, ни внуков. «И вроде не бабник, как отец его, покойник, а чо из баб вытянуть хочет — не пойму. Не ладится у него с имя», — жалилась она своей соседке Давыдовне. Николай и так выпивки не чурался, на службе спирт был вволю, а как лесник Наталью привез, он совсем в вине потерялся. После загулов похмелье у него, как правило, начиналось с проклятий себе, своей бестолковой жизни без семьи и детей. Мужики стали над ним язвить: все ведь другим свои беды в вину ставят, а этот, вишь ты, себя прокликает. Ну и приклеили ему ехидное прозвище Самоед.

Он подошел к речному броду уже в сумерки и сел на пенек передохнуть. Похмелье еще давало о себе знать, но в этот раз оно не было таким горьким, как всегда. Напротив, бойкое что-то родилось в груди, прибавляло ему силы: надежда, что ли, смысл, стержень какой-то, нужность чужой судьбе давали шанс выправить и собственную долю. Давыдовна подкатила к нему на больных ногах, сунула пакет с дождевиком и старенькое ружье:

— Не ходил бы в ночь-то, мож, еще вернутся. Лес тут неглыбокий, вширь блудить некуда, не тайга.

— А волки? Мужики врать не станут. Видели одного, а если стая? И что они тогда вдвоем с гнилой двустволкой?

— Эх, ежели бы вдвоем!.. Ладно, иди тада, ишь расселся, — ткнула она его в бок кривым пальцем и зашамкала вслед беззубым ртом «Живые помощи», перекрестила расплывающуюся в сумраке сгорбленную фигуру: «И впрямь, как старик стал. А ведь он моего сынка всего на семь лет старше. Вот она, водка...»

— Илья сказал, что выпоротый Натальей Андрюшка побежал прямо в лес. Часа через три, как мужики ей про волка сказали, она кинулась мальчонку искать, чтоб к ночи в поселок воротить. Теперь почти ночь, где вот они могут быть? — Николай размышлял вслух, чтоб вытравить одиночество, особенно жадное до души в сумерках. — Воют, заразы. Не один, точно! Вроде как из леса вышли, к ложбинке подались. Что их туда тянет? Дымком вроде как оттуда несет. Костер, что ль, какой ребятня там не затушила? Сходить посмотреть да волков пужануть, чтоб к поселку близко не подходили.

Николай почти уже залез на холм, и тут — выстрел, да еще из двустволки!

«Николай и про ногу-то больную забыл, что на любовной охоте полгода назад подранил, полетел — не побег! А вокруг вой да скрежет зубовный! Что ты, одно слово — волки», — рассказывала потом прихожанам церкви после службы Давыдовна придуманные ею самой подробности. Никто не мог в поселке точно знать, как оно было. А Николай твердил одно: «Кубарем скатился в овраг, чуть в костре штаны не прожог, смотрю, там Наталья, за ней малец прячется, ружьем размахивает. А я еще наверху из ружья даванул... Думал, показалось, а вышло, что и правда волки рядом кружили. Ну, и откружил один...» «Слава Богу! — крестилась при этих словах Давыдовна. — А дальше что ж? Дотащили они с Андрюшкой на дождевике Наталью до нас. Через брод потешно ее переправляли, на пластмассовой корыте детской. Нога торчит, она их такими словищами понужает! Это щас смешно, а тады прищемило в нас маненько храбрость-то, попурхались мы с ней, пока дотянули. Ну и скорая сразу, ей в больнице ногу в гипс вправили».

Вытерла кончиком платка слезящийся глаз: «Во как оно бывает, и в церкву ходили, и мальчонку окрестили, и всех. Я им сказала, не пойдете сами, дрыном погоню! А как жа? — доказывала она свою смелую правоту товаркам. — Бог им по молитвам новую жисть обустраивает, друг к дружку подгоняет, приспособливает, а они ему чо ж, и спасибо не скажут? Ну, я и расстаралась, построжилась. Да не-е, они не шибко кочевряжились, а то б я им!» И кулаком по коленке стучала грозно так.

Илья с Ерохой смотрели на нее издали, любовались: «Вот эта бабушка, точно ни перед кем не стучуется, любого за пояс заткнет!» От магазина к автобусной остановке к ним прихромали дядя Николай и тетя Наталья. Ероха во все глаза смотрел на них: вовсе они и не старые.

— Теть Наташа совсем другая стала, — прошептал на ухо другу Илья.

— И дядя Николай подтянутый такой. А как с новым ружьем управляется! Теперь он будет лесничим.

— Кому ж еще-то быть, — деловито заключил Илюха, — все-таки военный, хоть и бывший. Мой папка тоже служил.

Пограничником! Мож, и он за ум возьмется? Мы с бабулей теперь не слезем с него. Хватит мать мучить.

Ероха весь чистенький, штанишки и рубашка выглажены, кроссовки новые — подарок дяди Николая. Они вместе едут в город, потому что договорились: пока Андрей будет жить в детдоме. Подумать только, у него теперь есть и мать, и отец! Правда, крестные, но это, может, даже и важнее. Так сказала бабушка. А еще она на прощанье сказала названному внучку: «Ох, Андрейка, и премудрая штука жисть, сколь живу, столь учусь и удивляюсь! И ты, милоч, учись, а как кончится ученье, к нам приезжай. Теперь тебе есть про кого думать и к кому стремиться. Вон какой родней обзавелся!»

И Наталья подошла к крестнику, наклонилась: ни черноты в лице, ни свисающей тараканом бородавки на щеке. Не сказала — пропела: «Ну, давай, пострел, учись хорошо, не подведи. Все будем стараться теперь друг для дружки!» И прижала к себе. Оторвалась бородавка-то еще в овражке. В чистую, гладкую щеку уткнулся Ероха горячим лбом.